

Первое пятнадцатилетие моей жизни окрашено в ярко-желтый цвет.

В моем спектре к желтому примыкает не оранжевый и зеленый, но голубой. Желтый дом, стоящий на берегу моря.

Старый, потертый слайд, который я держу на просвет, сохранил Набережную улицу, в конце которой виден торец барака. Там я прожил лучшую часть своей жизни.

Свет на слайде контровой, и улица почти тонет в сиянии полдня. А моря не видно. Море где-то слева, за цепью длинных складов, за нефтебазой. Хотя в больших цистернах была никакая не нефть, а бензин и солярка.

Улица из одного дома...

Улицей была береговая полоса, по которой можно было пройти к пирсу, откуда хорошо ловилась камбала.

Если идти по берегу в правую сторону, минешь деревянные кунгасы, выбеленные солью и солнцем, столбы с колючей проволокой. В отлив, когда море отступало, это легко было сделать. Отсюда начиналась войсковая часть «Гидрат». Так назывались радиолокационная станция, солдатская баня, казарма с вышкой на крыше, огневые точки, обложенные дерном. Здесь можно было найти стреляные автоматные гильзы. Мальчик-подросток, я деланно шел, скосив глаза на вышку. Я всегда боялся, что меня остановит часовой. Часовой не останавливал, и меня это разочаровывало. Однако всякий раз, пересекая «колюч-

ку» с окриком на щите «Стой, буду стрелять!», я внутренне поджимался. Это был один из моих детских страхов. Наверное, он и сейчас во мне.

Где-то там, в конце улицы, мои отец и мать. Их уже нет в живых. Давшие мне жизнь, они связывают меня с родом и с моим представлением о рае, который подозрительно похож на мое детство, где много книг, а вода — мы качали ее ручной помпой — была необыкновенно вкусна.

Мать умерла гораздо позже отца. Она построила другой дом и легла человеческим зерном в землю Владимирщины, прожив семьдесят два лета. В разгар осени, когда под ногами гремел сухой кленовый лист, ее не стало. Безмятежно-синее небо, теплая земля, огненные листья... И милосердное, спокойное торжество смерти. Это было для меня открытием.

Отец остался в холодной каменистой камчатской земле. Он встретит меня и будет проводником, когда я поднимусь на свой последний перевал.

Я плохо вижу отсюда отца и мать, но я чувствую их присутствие. А дом в конце улицы, выкрашенный охрой, дряхлел. И когда я через десять лет постучал в дверь и попросил у нового хозяина воды, я не нашел там себя и своих братьев, не услышал родительских голосов.

В катастрофические девяностые каждая вещь была пропитана запахом тлена. И я просил не о воле Отца, но о том, чтобы *чаша сия меня миновала*. Это было камлание язычника...

Поэзия

ПЕЛИКЕН

М. А.

*Вот пеликен. Вот наш чукотский бог.
Ему молились родичи мои. А ты его —
не надо, не моли.*

*Но посреди невзгод или забот
возьми его в горячую ладонь,
не постесняйся, не забудь — возьми!
Когда-то с ним на празднике весны
мы добывали золотой огонь.*

*Костер-язычник, — в небо языки!
(Не знаю, искры, звезды ль в вышине?)
Коснулось ли сейчас твоей руки
воспоминание о том огне?*

*Вот пеликен. Тебя, твоих родных
и тех, что далеки и что близки,
пусть он хранит от хвори и тоски,
от неудач (и от удач иных!).*

*Когда тебя сомненье посетит,
спроси его совета:
как, мол, быть?
Когда продрогнешь посреди пути,
скажи ему: «Согреешь, может быть?»*

*Признаться, он не слишком-то силен
сам по себе, божок земли моей.
Ведь низведен он (или возведен?)
из божества —
в подарок от друзей.*

*Да, сознаюсь тебе, куда ни шло:
Вдохнули мы в него
свое тепло.
В нем будет наша тундра,
будем мы,
когда о нас ты вспомнишь вдалеке.
В нем — дружбу нашу
ты с собой возьми:
вот — пеликен.*

Антонина КЫМЫТВАЛЬ

Последнюю точку в рукописи книги «Гибкая пуля» я поставил за две недели до смерти матери. Мне сообщили, что ей совсем плохо. Я собирал деньги на билет, полетел, но опоздал. Тромб, оторвавшийся где-то в области сердца, сделал свое черное дело. И я был смятен и уничтожен. Я бежал в православный храм, крестился. После похорон, когда летел обратно, я слышал сквозь гул самолетных турбин хор ангелов. И книга стала называться по-другому.

Теперь я утратил чувство дома. Сколько раз я забывал ключи и забирался в дом через форточку!

Последний прижизненный дом, в котором живет моя душа, не так прочен как раньше. Я знаю — нужно спешить.

ПАСПОРТ ПОЛОСТИ РТА

— Пятый слева удален. На шестом — коронка. Седьмой — мост. Удален шестой справа. На пятом коронка. Внизу слева удален четвертый, пятый... — крепкая старуха, ничуть не смущаясь пациента, затягивается беломориной, мусолит пальцем у меня во рту, диктует медсестре в кокетливом белом халатике, — шестой... э-э-э ...коронка на шестом, седьмой удален. Такой молодой и без зубов!

Городская стоматологическая поликлиника. Мне нужно санировать полость рта и вставлять протезы. Ничто так зримо и безнадежно не подвергается распаду, как эти костные выходы, блестящие эмалью и радующие в ранней юности белизной.

Время ворвалось в мой рот подобно автомобилю, потерявшему управление. Четвертый справа раскалывается, и я, захваченный врасплох, теряю еще одного бойца. На это место встанет новый солдат из блистающей анодированной стали. Наконец годам к шестидесяти ротовая полость похожа на руины Парфенона. К восьмидесяти (если очень повезет и ты пройдешь онкологические и сердечные перевалы) это пустыня. И мою улыбку спасает пластиковая вставная челюсть, которую я каждое утро достаю из стакана с водой. Оскал безупречный!

Иногда мне снятся страшные сны, в которых мои зубы разваливаются, оставляя обломки. Я просыпаюсь в поту. Трогаю зубы языком...

Зубы — мой костяк, моя основа — не прочнее известняка среди подвижной стихии лимфы

и крови. Еще одна брешь в нижней челюсти: седьмой справа...

Первый зуб мне выбили обухом туристического топорика, когда мне было четырнадцать, второй я потерял, играя в баскетбол, третий, здоровый и крепкий, был удален по ошибке розовощеким поселковым врачом. И я вставил себе стальные зубы и очень гордился хромированным блеском во рту.

В одном из моих отроческих снов у меня выпал зуб. Белый зуб и капелька крови... Через

месяц умер отец. Вот они — вестники смерти! В старости, за редким исключением, белизна улыбки жива — слишком ровные зубы. Но провалы щек говорят о потерях. Моя матушка, умирая, выронила вставную челюсть изо рта. Искали в суматохе и не нашли. Так и похоронили.

Я с настырным любопытством вглядываюсь в мир. Я заливаюсь смехом и пускаю пузыри. Мне всего лишь два месяца от роду.

Мой рот беззуб и беззаботен...

ВЕСНА, И ЕЩЕ...

С наступлением весны, а весна приходит каждый раз своеобразно, капризно и прихотливо, с приходом этого времени года я спрашиваю себя: не последняя ли? И шире расправляю грудь, и дышу глубже, чтобы надышаться впрок влажным воздухом, в котором можно угадать горький дух набирающих силу древесных почек.

Вот и сегодня я вышел рано. Белый диск колыхается в туманной пелене. Солнце только-только оторвалось от еще кое-где заснеженных сопков.

Тихо и безветренно. По зеленой, едва пробившейся с первым теплом траве, холодная волна инея. Ночью были заморозки и земля подмерзла. То ли конец мая, то ли начало ноября. И необъяснимое чувство праздника, словно бы листва сошла, а завтра — снег. И стоит мне чуть голову повернуть, и я увижу, как отец весело прибывает к углу дома древко флага, а там еще флаг и еще. И ветер уже вовсю разворачивает красные полотнища! А мне всего семь годков. И отец кричит:

— Сын, принеси-ка гвоздей! Наши-то опять в космосе!

И я бегу помочь отцу и радуюсь вместе с ним. Я знаю, что сегодня праздник.

Нет, не услышу я веселый голос отца.

Он любил дешевый портвейн «Солнцедар». Как теперь бы сказали — «паленый». Другое время и новое слово. Отец заболел раком желудка. И до очередной своей весны не дотянул. Он умер после ноябрьских праздников, когда лег снег. Умер буднично, словно бы вышел в магазин за хлебом.

— Детей не тревожь, пусть спят, — сказал он моей матери. А я был сопляк и ничего не понимал.

С последней моей весной, если мне повезет больше, чем отцу, я так же вот выйду за хлебом, а потом вприпрыжку вернусь — маленький мальчик, — зажав в одном кулаке сдачу, а другой прижимая к себе еще теплую буханку хлеба.

Я вернусь в иной дом, где меня всегда ждут отец с матерью.

ИССЛЕДОВАНИЕ ДОМА

— ...Кто научил тебя *этому*? — спросил я ее. Спросил, когда стало понятно: что-то случилось. Как говорится, мышь пробежала.

Мы смотрели телепередачу. Ведущий рассуждал о тайнах человеческого сознания. И она вдруг перевела взгляд с экрана и стала рассматривать в упор мое лицо. Я не сразу понял, что на меня смотрят. Весь был там, в этом ящике. Показалось, будто нутро вывернули наизнанку. Я попробовал сосредоточиться на проблеме перверсии, о которой шла речь. Нить рассуждений была потеряна.

Немного разозлился. Посмотрел ей в глаза — все равно как через стекло окна смотрят в дом. Только увидел свое, спрятанное от других. Сокровенное, лелеемое, что было мне дорого. И совсем дальние уголки. Ничего нельзя было выделить: это — одно, а то — другое. Все оголилось. Так дно обнажается в отлив, когда море уходит.

Женщина отвернулась, зевнула, чуть переигрывая:

— У тебя лицо «поплыло», — пожалала плечами. — Стесняешься, что ли?

Я, судя по всему, должен был оставаться внешне твердым. С физиономией как у Керка Дугласа в американском фильме «Спартак». Неукротимый воин. Какой он, Керк-актер, дома? Наверное, шаркает шлепанцами, сморкается. Пукнет или икнет ненароком. Таблетки глотает от гриппа. Такой вот «жесткий» парень. Трудно быть твердым, когда гость в доме. Трогает, рассматривает твои вещи. В доме человек размягчается. По

китайской философии, внутреннее — оно податливое, женское. Внутреннее дома становится женским на мужской манер. Женщина, утратив природное, занимает у другого пола. Она прочно поселяется в новом пространстве.

Взирая на свой панельный кров, мужчина не у дел. Он в смятении. Ему лишь остается «подписаться на весь срок» грядущих войн и готовиться к походам.

СНЫ

Говоря о наполняющем дом, надо бы вспомнить сны.

Кинематограф рассказывает о снах лучше книг, он словно бы создан для этого. В снах человек сам становится вещью. Пальцем не шевельнет по своей воле. Во сне и волос, упавший с головы, имеет свой смысл.

Смутные, быстротечные сны. Яркие грезы.

Трудно сказать, где кончается греза и начинается сон...

Пустая комната. Широкое окно во всю стену.

Вижу в комнате покойного отца. Но вижу краем глаза. Отец все время ускользает от меня, как и суть разговора с ним.

Я подхожу к окну. За окном — красивое зеленое море.

Ветрено. Солнечно.

Дом стоит на берегу. И береговая галька начинается от порога.

Ветер быстро усиливается, срывает с волн пену.

Я замечаю: дом покосился, стены накренились к морю. Я не испытываю беспокойства.

С помощью шарика методично измеряю кризису пола.

Как я не заметил этого раньше! Дом что-то подпирает изнутри. И пол в комнате выгибается. Это уже просто холм.

Отбросив лопнувший линолеум, я вижу огромный камень.

Камень вызывающе красив сверкающей ноздреватой зеленью.

Теперь это ящерица. И ящерица-камень незаметно обнимает, вползает на деревянную лежанку. Мне кажется — так было всегда. Как же я спал на ней?

Я понимаю: жить в доме больше нельзя.

Из сердцевины дома, из сокрытого я смотрел на свою жизнь.

ШИЗОФРЕНИЯ

В моем компьютере живет вирус.

Я пользуюсь простой защитой, но иногда вирус искажает написанное. Приходится исправлять.

Когда это случилось в первый раз, я еще не знал о болезни. Вирус заменил слова «добрый», «веселый», «нежный» на похабные. Открыв файл, я подумал, что сошел с ума. Шизофрения — это когда в голове два хозяина.

Я не сразу догадался о вторжении, и пошлый смысл какое-то время держал меня в плену. Чувство, которое я испытал, можно было бы обозна-

чить словом «гнев». Чужая воля присутствовала в рассказе. И рассказ перестал быть моим.

Я думал о том, что толкает неглупых людей на такие незатейливые придумки. Наверное, то же, что и пишущих на стенах общественного туалета. Такое вот грязное соавторство.

Обогнув на корабле мыс, я ухожу от сумасшедшей повседневности. Мне открывается иной берег. Написав текст, я забываю путь, которым прошел. Художественное «нетехнологично». Иначе я знал бы его природу. А соблазн повторить пройденное есть всегда.

По законам языка, который шире моего понимания, движется серое вещество мозга. Только Создатель «знает как». Грубый Его антагонист и отрицатель вторичен, как вторична тень. Он пользуется грубыми приемами и пишет на заборах.

Вторичен «мат», которым мы привычно пользуемся. И смысл сказанного может быть злым и хлестким, но всегда неглубоким. Такая речь по-

кажется больным бредом жителю какого-нибудь древнего Новгорода.

Стайка девочек-подростков, вьющаяся впереди меня по дороге в школу и с пугающей отчетливостью выкрикивающая бранные слова, вполне безумна.

Мир взрослых мог бы стать той самой простой защитой для них, но и он болен и сам требует исправления.

МЕЖДУМИРЬЕ

Моя дочь разговаривает с ангелами.

Она лежит на спине, раскинув руки.

Она улыбается.

Она видит то, чего не вижу я, человек взрослый, земной. Дочери моей полтора месяца от роду. Родничок на ее голове еще не затянулся — живая трепетная проталинка, куда слетает Дух. Моя дочь засыпает. И улыбка прорастает сквозь сон.

Ребенок пока не умеет говорить на моем языке. И губы прихотливо и безмолвно складываются в слова иного языка. Так говорит человек, стоящий в отдалении. Я не слышу его, однако вижу движение губ. И если бы умел читать по губам, я понял бы его. Но я не понимаю младенческой речи. И не знаю имен бесплотных собеседников дочери. Я вижу только тень разговора. И я боюсь прервать этот диалог и тихо отхожу в сторону.

Я страшусь за нее. Она пришла из иного мира, а к здешнему приросла еще так непрочно. Уже не там, но и не до конца здесь. Пульсирует родничок. И по одну сторону детского сна — моя молчаливая тревога, а по другую — вестники, склонившиеся над ребенком.

Но вот дочь просыпается, и они отпускают ее. Плотное и вещественное день ото дня будет овладевать ею. Теперь моя земля заслоняет ее мир. Но для разговора с Богом нужно отлепиться от вестника, забыть его, потерять на время, чтобы через усилия косного языка вернуться к небесному. От неба — к небу.

Согретое горячей плотью живое слово, которому она научится, приведет к иной силе, иной любви, неизмеримо большей, когда уже не берут, как в раннем младенчестве берут материнскую грудь, но отдают свое, дорогое во имя другой жизни.

УТРО ГОСПОДА

Мы совсем разучились слушать. Нынче время ораторов. Болезненное самолюбие толкает проносить речи. Не чуткое ухо, но болтливый и чувственный рот — примета сегодняшнего дня. А если и слушаем, то затыкаем ухо эстрадным ритмом. Ухо своими очертаниями повторяет младенца в материнской утробе. Еще не родившийся ребенок — весь ухо и весь обращен в слух. Если он перестанет слышать свою мать, он погибнет. Почему мы так самоуверенны в своей зрелости, полагая, что у нас есть ответы на все вопросы? Мы спешим наставлять других.

Отмечая в зеркале плешь и седину, взгляни на ухо свое! Смятое, деформированное, заросшее волосом, оно утратило способность слышать.

После Таинства Елеосвящения, за многие дни я в первый раз легко и быстро уснул. Рано утром, еще не окончательно проснувшись, на границе яви и сна я услышал историю скульптора. Рассказ его жил во мне не сновидением — грезой.

Это было сожаление-повествование. Скульптор должен снять посмертную маску с лица моей матери. На лице умершей лежит печать скорби. Скульптор большой мастер. Глина послушна в



Поэзия



*Так улыбка будит фразу.
Так глаза хватают мрак.
Нам друг друга видно сразу:
Ты рыбак и я рыбак.*

*Так следы по перелеску
Вдруг уводят не туда.
Так судьба, закинув леску,
Тянет сердце из пруда.*

*Там серебряною сетью
Рябь плывет поверх голов.
Спят в счастливом беспредметье
Твой улов и мой улов.*

*Светлым трепетом зовущим
Чешуя на них горит.
А внизу совсем беззвучно
Рыба с рыбой говорит.*

*Рыба рыбе говорит:
Не люби меня, не надо.
Все отмокнет, отболит.
Лишь побудь немного рядом:*

*В темной жидкой тишине
Полежи со мной на дне.*

Дарья УЛАНОВА

его руках. Но здесь он бессилён. Нельзя изменить ни одной черты лица. Поздно... Жизнь прожита.

Я просыпался, и воздух рассказа жил во мне. Я сам был этим печальным скульптором, который мог бы вылепить лицо живого человека в надежде и силе. И я был умершей матерью, и был глиной на ее мертвом лице. Я просыпался в скорби, но скорбь оставляла меня. Услышав важное, всегда есть возможность что-то поправить.

Проси за живых, за мертвых. К тебе обращено Ухо Господне!

БЕЗ МИЛОСЕРДИЯ

В одну из больниц города N-ска поступил больной. На дороге случилось ДТП. Так в сводках, прячась за аббревиатурой от чужих несчастий, коротко именуют дорожные столкновения.

Кто-то в той катастрофе погиб, кто-то попал в реанимацию, а этого бедолагу, разбитого, но живого, положили, за неимением мест, в коридоре. Он лежал у стены, в кровоподтеках, постанывая. Медицинская сестра бросила ему на грудь шприцы, какие-то таблетки, ампулы, может быть болеутоляющее, и что-то еще, наверное необходимое, и ушла. У пострадавшего не оказалось ни карты, ни денег, чтобы заплатить за услуги.

Линейный телефонист, пришедший починить проводку, оказался невольным свидетелем всего этого. Он ошеломленно смотрел на лежащего у стены и, наверное, помог бы несчастному, умеи он остановить кровотечение и сделать укол.

Люди в белых халатах сновали мимо. Телефонисту дико было видеть приходящее. Он стал громко выражать отношение и размахивать руками. «Прекратите ругаться матом в общественном месте! — сказали ему врачи. — Это не наш пациент!»

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

Всякий раз, проходя через детскую площадку летним вечером, я видел этих людей. Они сидели парами, тройками на качелях, цедили из бутылок



пиво, курили и меланхолично покачивались. Мне трудно было определить их пол. Они даже не разговаривали. Может быть, они размышляли над загадками мироздания? Пойти им некуда. Телевизор надоел. О чем же говорить? А здесь свежий воздух и качельки. Они были как одна большая семья, уставшая от быта и досадных мелочей, отравляющих жизнь. Они от всего устали. Вот и

потянулись из соседних подъездов, открыв для себя, что пить пиво на детских качелях необыкновенно приятно.

К осени качельки были сломаны.

Китайцам, нашим «братьям навек», и хитрить не нужно. Когда мы все окончательно развалим-разрушим и станем не нужны даже самим себе, они придут, починят сломанное, а нас выгонят.

ВРЕМЯ СЕРЫХ ЛЮДЕЙ

Серый человек ведет за собой серого человека, ибо серое прилепляется к серому. Не отличить от других, похожих. Серый проголосует и выберет серое. В серых рядах легче затеряться, спрятаться, пережить трудное время.

Серые люди не терпят мастеров. Мастер не может быть серым. Мастерство многолико, а серое похоже во всем. У серого свет померк в глазах, и как ему увидеть яркое и непохожее на другое!

Серый человек — существо бесполое. Не мужчина и не женщина. Серым легко управлять. Достаточно пообещать серому приятное и привычное — и он уже твой попутчик. А если ты обеспечишь ему это приятное, серый готов убить

твоего врага. Но серый на крайний шаг идет редко. Зачем же ему выделяться из серого ряда? Если серый и ударит, то в спину.

Любое начинание серый подхватит с воодушевлением. Но и это воодушевление будет теплым, не горячим. «Давайте обсудим», — скажет серый. Он утопит идею в долгих разговорах, вынесет блеклую резолюцию, назначит серых исполнителей. Он будет скучно говорить о прорыве, о новых горизонтах...

Серый никогда не скажет, что он сер. Но как он ни прячет себя, его всегда можно узнать: весь его облик, планы и слова словно бы присыпаны пеплом.

Серые вожди, серое время...

КОКОН И БАБОЧКА

В стеклянной банке на подоконнике спит бабочка.

Осенью перед сильными холодами она залетела в мою форточку на четвертый этаж. Мне было приятно ее доверие. Я легко прихватил полусонную и поместил в стеклянный гроб. Для невнимательного взгляда — сухой блеклый листок. Для меня — монарх с *циклом полного превращения*.

Рассеянный сосед едва не стряхнул на моего монарха пепел сигареты. Я выгнал соседа, а банку с тех пор стал прикрывать.

Это очень важно — оболочка. Мысль делает свою работу в коконе тела. Сознание живой бабочки — ее полет, так похожий на кардиограмму сердца. И я только то, что я думаю и как.

Я вспомнил другой кокон — мумию египетского жреца, выставленную для всеобщего обозрения в Эрмитаже. У жреца было имя и судьба, а теперь он — музейный экспонат среди гуляющих посетителей. Ожоги любопытных взглядов заставляют жреца вздрагивать. Для него не нашлось даже банки. Ведь смерти нет, когда внушается виртуальность жизни и все словно бы понарошку и необязательно. Египтяне умели уберечь тела своих умерших от разрушения. Куколка неприкосновенна. Из куколки появится бабочка. Иноверцы, толкующие христианство не в духе, но в букве, забывают о Воскресении. Но сказано: иная жизнь в ином теле.

Другая мумия, лежащая в мавзолее на Красной площади, бросает в дрожь язычников-демократов: а ну как Вождь выйдет из гранитных берегов!

— Надя завещала предать тело земле, — сокрушенно разводят руками демократы. Демократы камлают. Разрушить оболочку — обыкновенная магия новых шаманов в костюмах единого покроя. Неуважение к культуре, пусть даже и

чуждой, к чужой оболочке, которая есть не что иное, как мысль и ожидание иной жизни, вошло в привычку. Разрушить — значит скрыть правду. Откройте архивы, и спящий утратит свои чары, став частью истории и географии!

А я берегу своего монарха.

Ожидаемое приходит, когда есть ожидающий.

ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА

У Хемингуэя есть ранний рассказ, который называется «Что-то кончилось». Нерв рассказа — разговор американского мальчика и девочки-индианки в лодке, плывущей по реке. Скорее, даже не разговор, а молчание, которое повисает, когда слова не нужны и нужно расставаться, потому что «кончилось».

Вот и среди праздника вдруг понимаешь: праздник на излете, он еще не разогнал как следует, а финальная нота явственно слышна. И становится грустно.

В предпраздничной суете присутствует некоторая истерия, натужность. Эти рыночные бега, извечная проблема «что подарить?» И вопрос в глазах дарящего: «Тебе понравился мой подарок?»

Дарящие редко попадают в точку. Надо как минимум оказаться в снах одариваемого, дабы увидеть предмет тайного вожеления. В наше холодное время дарители действуют по договоренности: ты мне это, а я тебе то. И все довольны.

Ну вот наконец праздник и закончился. На лицах и вещах — печать измождения и усталости. Тянет скорей на улицу. Холодный воздух обжигает гортань. Низкое задымленное небо. Обрывки мишуры, сгоревшие салюты, угасшие фейерверки. Пустыньность. Отрезвление.

Какой-то фотограф мается среди сугробов снега. Он *видит*. Приседает. Всматривается. Наводит фотоаппарат. Поправляет что-то на снегу. Он явно недоволен. Вчерашнее веселье лежит грузом, а нужно *делать кадр*.

На балконе панельной пятиэтажки стоит компания. Они вышли покурить. Созерцают маету фотографа. Наконец один не выдерживает:

— Мужик, ты что там фотографируешь?

Фотограф поднимает голову, видит курящих, делает неопределенный жест рукой. Дескать, мелочи. Однако понимает: скучает компания и просто так не отвяжется.

За ветку занесенного снегом куста зацепилась, полощется на ветру лента цветного серпантина. Фотограф показывает на ленту.

Вопрошающий громко недоумевает:

— Зачем тебе это, мужик?

Человек с фотоаппаратом пожимает плечами.

— Да ведь красиво. Осталось после праздника...

— Мужик, а может, ты террорист? — с балкона насаждает скучающий. Он кажется себе остроумным.

Фотограф злится.

— А разве похоже?

После некоторой паузы все тот же голос из неразличимости курящих беспомощно и подетски:

— Мужик, сфотографируй меня тут!

Для этого парня были все удовольствия, какие себе можно представить в пору цветущей юности. Однако и он понимает, чувствует: что-то кончилось. Он не хочет верить этому. Отчаянно болит голова. На свежем снегу яркие пятна крови. Прошедшей ночью здесь крепко погуляли. И на соседнюю улицу, сигналив, пролетела «скорая». Парень не хочет умирать. В просьбе запечатлеть его неосознанно звучит: «Сохрани хотя бы образ!»

От этой встречи только и останется — ролик пленки да нерешенный вопрос в глазах просящего.

Мне иногда попадают в руки старые выцветшие фото начала прошлого века, отпечатанные на плотной основательной бумаге. Мужчины на фотоснимках подчеркнуто-серьезны. Ни тени улыбки. Женщины с детьми — надежда и поддержка — рядом и около. Непременный атрибут у мужчин — усы, борода.

Лишь однажды на одной фотографии, где была запечатлена пожарная команда небольшого уездного городка, я увидел привычное выражение лица: пожарник в заднем ряду ухмылялся. Пожарник был пьян, безус и безбород. Он был из другого времени...

Я спрашиваю себя, куда же они смотрят и что видят? И почему неулыбчивы?

Но разве не серьезно случившееся: электрические машины, воздушные станции, аэропланы? Эти странные предметы и вещи, пришедшие в дома. Дирижабль, синематограф, автомобиль диктуют стиль и моду. Новое еще не скрывает свое лицо, как прячет лицо фотограф под черной накидкой.

Между мной и этими людьми на фото нет временного промежутка. Через камеру-обскуру мы смотрим друг другу в глаза. Они видят, какими мы стали или как изменились они.

— Неужели это мы? Вот оно как. Ну что же... — спокойно, отчужденно. Слишком серьезен момент, чтобы демонстрировать белизну зубов.

Время сжалось до размеров плоской коробочки современной фотокамеры, которая без труда прячется в ладони. Нет протяженности, дальности, неоглядности. Все здесь. Несколько десятков граммов металла и стекла, итог порывов и усилий миллионов безвестных. Усредненность, спрессованная и растиражированная. Человеческая мечта осталась за кадром.

Мы улыбаемся по команде фотографа.

— Все не так плохо... — звучит словно оправдание. И нет прежнего достоинства. Улыбки фальшивы. Пестрые одежды вот-вот сорвет ветер.

За нашей спиной, куда продлевают взгляд смотрящие на нас, уже нет ничего...

ЗАБОТА

Готовясь к Святому Причащению, я вычитал положенный Канон и лег поздно, во втором часу ночи. Я включил будильник в своих часах, чтобы не проспать.

Утром я услышал музыку. Это была простая, безыскусная мелодия, короткий, повторяющийся отрывок. Мелодия не громкая и не тихая, ровно такая, чтобы крепко спящий услышал и проснулся.

За окном начинался день субботы. И в комнате было уже светло. «Как странно, — думал я, лежа в кровати и слушая эту музыку, — совсем непохоже на сигнал моего электронного будильника.

Мой пиццит коротко и раздражающе». И музыка играла совсем не там, где лежали часы.

Было 6.45, а мой будильник в это время не прозвонил. «Наверное, кто-то из гостей оставил свой мобильный телефон», — подумалось мне. Я не обратил внимания, что на комод, откуда раздавалась музыка, не было чужого телефона. Здесь стояла маленькая иконка Казанской Божией Матери.

Собираясь к Причастию, я забыл мелодию. И как я жалел об этом, когда понял, что в то утро меня разбудила Богородица!

НА КИЛОМЕТРАХ

Два раза в неделю, с пересадками, я еду за козьим молоком.

На городских окраинах беспроглядно, темно.

Забрав у хозяйки свою банку, я выхожу в переулок. Парное молоко согревает руки.

В холодном небе — дуга Млечного Пути. Влажная позднеосенняя твердь дышит близкой зимой. Твердь небесная рассыпает наждачную пыль ноябрьского круга.

Внизу — у самой земли — сырое, плотное, придавленное. Над головой разгул и размах. Вот они, сверкающие колеса визионера Якоба Беме. Древним не нужен был синемаграф. Небо было живое.

Слезой по небосклону катится спутник. Доверчиво блеют козы. Ярмарочную мелодийку поет

в кармане мобильный телефон. Пахнет сеном, стылым железом, временем.

А мне остается только благодарить Создателя за то, что я еще вижу эти звезды, дышу резким воздухом осени, помню вкус черного хлеба и теплого молока...

Господи единосущий Сыне Божий во мне пребывающий терпкий Мой ищущий меня во тьме закута в молчании Своем обнимающий плачущий обо мне нож острый точащий возлюбивший и отпускающий щедрый удары Твои милосердный горячи слезы раны омывающие Твое нестерпимое одиночество в словах моих праздных и неумелых прощение Твое аминь.

2002–2009 гг.

Петропавловск-Камчатский

